



Д. Н. ЦЕРТЕЛЕВ

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

Так как лет шесть тому назад в «Вестнике Европы» напечатано было несколько писем Вл. С. Соловьева¹ ко мне с примечанием, что эти письма доставлены мною, то считаю необходимым теперь упомянуть, что относительно печатания частных писем я не разделяю взгляда ни редакции «Вестника Европы», ни самого Соловьева. Я должен поэтому объяснить, как эти письма попали в редакцию.

Вскоре после кончины Владимира Сергеевича я был у М. М. Стасюлевича и в разговоре упомянул о том, что у меня есть интересный материал для статьи: об отношении покойного Соловьева к медиумическим явлениям — и что на днях я попрошу его ознакомиться с этими материалами и сообщить мне, будет ли статья об этом предмете представлять интерес для читателей «Вестника Европы». Через несколько дней я уехал в Москву, где прочел некоторым из друзей Соловьева помянутые письма: потом в деревне у меня они были переписаны и посланы для просмотра, а не для печати М. М. Стасюлевичу. Долгое время не получая ответа, но зная обычную аккуратность издателя, я написал ему, чтобы узнать, находит ли он материал подходящим, и с удивлением узнал, что письма уже напечатаны.

Михаил Матвеевич, очевидно, забыл, что, когда мы беседовали о Соловьеве, речь шла по поводу его писем, а не о самих письмах. Конечно, в этих письмах нет ничего, могущего компрометировать кого бы то ни было, но в принципе, будучи убежден, что при жизни автора частные письма могут печататься только с его ведома, а после его смерти только с ведома и по желанию того лица, к которому письмо адресовано и которое, сообщая его для напечатания в то или другое издание, вместе с тем берет на себя всю юридическую и нравственную ответственность за него,

я не могу признать напечатание этих писем с формальной точки зрения вполне правильным.

Укоренившийся во многих редакциях обычай печатать письма и документы без достаточной проверки права тех лиц, которыми они предъявляются, и без согласия третьих лиц, чести которых они могут касаться, — есть одно из самых печальных явлений, проникших в нашу публицистику еще прежде, чем новые временные правила о свободе печати благодаря поспешности работ комиссии Д. Ф. Кобеко² успели получить не только Высочайшее, но и какое бы то ни было утверждение.

Впрочем, это замечание о неправильном печатании частных писем, может быть, менее всего относится к «Вестнику Европы».

Я был с Соловьевым в одной гимназии и помню еще в шестом классе его худую и бледную фигуру во время перемен; но, так как он был классом старше меня, мы не были знакомы и познакомились только тогда, когда я был уже на первом курсе университета. Хорошо помню этот вечер. У П. А. Зилова собралось несколько человек — студентов разных факультетов, между ними были Соловьев и Писемский. Писемский был почитателем Огюста Конта; Соловьев, напротив того, полагал, что время позитивизма безвозвратно прошло и что философская мысль принимает совершенно другое направление. Между ними поризошел оживленный спор, которого я оставался безмолвным слушателем, но с этого времени началась наша дружба с Соловьевым, хотя мы знали друг друга очень мало.

Та духовная связь, которая является вследствие единства убеждений, конечно, тем обязательнее и тем теснее, чем менее распространены эти убеждения, и в начале семидесятых годов найти в России человека, который сомневался бы в непогрешимости Фохта, Мошешотта и Бюхнера, было трудно. Выступление через три года молодого философа с диссертацией, направленной против позитивизма, явилось не только неожиданностью, но и неслыханной дерзостью, и когда вслед за тем Владимир Соловьев получил кафедру П. Д. Юркевича, он сразу стал в Москве знаменитостью. Редакции искали его сотрудничества, дамы наразрыв приглашали его на чашку чая, а литературные противники старались облить помоями. На самого Соловьева это исключительное положение, завоеванное им в двадцать два года, не могло не иметь влияния, не всегда благотворного. Вынужденный по самым разнородным вопросам выступать в роли учителя, он тем самым связывал себя на будущее время, так как позднее не мог

уже говорить иначе, чем говорил в первой молодости, не впадая в противоречие с самим собою.

Вероятно, именно от этой ранней привычки к кафедре у Соловьева осталась некоторая нелюбовь к спорам, к подробному обсуждению мнений людей противоположного направления и стремление к систематизации еще не доказанных гипотез. Все-го опаснее такое стремление, конечно, в области истории. Во время своего увлечения славянофильскими теориями Соловьев часто вспоминал изречение: «Два Рима пало, третий стоит, четвертому — не бывать»³, — разумея под третьим Римом Москву. Позднее, когда стремление к церковному единству заставило его тяготеть к первому, хотя и павшему, Риму, оно явилось причиной, может быть, не совсем справедливого отношения к московскому периоду русской истории.

Определение относительного значения каждого исторического события зависит, конечно, не только от объективных условий развития того или другого народа, но также, и прежде всего, от той точки зрения, на которой в данный момент находится сам автор.

«История сама есть Страшный суд», — говорит Шиллер, и эта глубокая мысль есть вместе с тем осуждение тех поверхностных оценок, которые по собственному капризу хотели бы изменить ход мировых событий. Большинство людей, выражая свои стремления и желания, не подозревает, что все явления в природе неразрывно связаны между собою и что невозможно коснуться ни одного из них, не касаясь тем самым всего мироздания. В сущности, вся точность так называемых положительных наук основана на «незнании действительных причин совершающихся явлений». Что это так, ясно для каждого, кто может понять, что самое простое явление, как бы обычно и, по-видимому, само собою понятно оно ни было, в конце концов есть результат совместной одновременной деятельности бесчисленного множества условий. Но как только такая точка зрения действительно усвоена, сразу исчезает возможность исторического или, точнее, хронологического толкования событий, а с исчезновением понятия времени идея причины и цели неизбежно сливается в понятии сущего.

Вот почему во всех истинно философских, а не псевдонаучных системах последние, самые существенные вопросы сводятся к вопросам богословским. Вся кажущаяся действительность, возникающая во времени для того, чтобы опять в нем бесследно исчезнуть, есть нечто постоянно возникающее, но никогда не осуществляющееся.

У Вл. С. Соловьева уже в ранней молодости было ощущение близости той роковой черты, на которой стоит человечество. Светопреставление казалось ему не отдаленным событием, скрытым во тьме веков, а чем-то очень определенным и близким, к чему всегда надо быть готовым. Несмотря на то что такая точка зрения многим покажется странной или, пожалуй, даже ненормальной, стоит только внимательно отнестись к вопросу, который сделала мне однажды женщина, чуждая всяких богословских и философских тонкостей: не есть ли смерть человека для него светопреставление? — чтобы понять практическое его значение для каждого из нас. «Мы не все умрем, а все изменимся»⁴, — говорит апостол Павел. Важно, конечно, не то, когда и сколько человек испытывают это изменение и совершится ли оно мгновенно или последовательно во времени. По выражению того же апостола, у Бога один день и целый век — как миг один и один миг — как целый век⁵. С точки зрения положительного знания, такое отношение к делу, конечно, совершенно недопустимо; с другой стороны, что, собственно, делают ученые, самые авторитетные в сфере положительных наук? Действительно ли они дают своим читателям и слушателям только необходимые выводы из бесспорных законов и фактов? Не зависит ли, наоборот, значительная часть их успеха от кажущейся новизны точки зрения автора, которая позволяет читателю предположить, что он воспользовался данными, еще не известными его предшественникам? В половине семидесятых годов, когда С. М. Соловьев преподавал историю России Государю Наследнику, он останавливался в гостинице «Франция», где стояли и мы с Вл. С. Соловьевым, и я часто видел его в это время. Несмотря на мое уважение к знаменитому историку, я воспользовался этим случаем, чтобы высказать ему мои сомнения относительно научного значения исторического метода. Сергей Михайлович отвечал только, что это — ересь, которая отпустится мне по молодости лет. Должен признаться, однако, что с тех пор не только не приблизился к более ортодоксальному пониманию «истории», а, наоборот, окончательно убедился в правильности отношения к ней Гете и Шопенгауэра. Вл. С. Соловьев, с которым мне приходилось беседовать об этом вопросе, хотя он часто ссылался на исторические доказательства, едва ли имел в этом отношении вполне определенную точку зрения.

Несмотря на исключительные способности, которые позволяли Соловьеву в короткое время преодолевать трудности, требовавшие от другого долгих лет работы, здоровье его уже в молодости не было удовлетворительно. Однако, несмотря на

совершенно неправильный, с точки зрения медицины, образ жизни, он дожил почти до пятидесяти лет и едва ли мог бы сделать больше, чем сделал, если бы работал более правильно.

Лет за десять до его смерти мне случилось как-то зайти к нему, когда какой-то художник писал его портрет. Соловьев, хотя ему не было и сорока лет, с его глубокими морщинами и длинными полуседыми волосами, тогда уже имел вид старика, и не было ничего удивительного, что художник спросил его: «А ведь вы, Владимир Сергеевич, должно быть, моложе Фета?» А Фету в то время было под семьдесят.

Старообразность фигуры и лица Соловьева в связи с чисто юношескими чертами его характера заставляла иногда людей, мало знающих его, думать, что он нарочно бывает ненатурален, что-то на себя «напускает» или прикидывается. Были даже в печати люди, которые глубокомысленно разыскивали какое-то «пятно», которое могло бы объяснить казавшиеся им странными противоречия в характере Соловьева. Для людей, привыкших жить исключительно почти внешними впечатлениями, его рассеянность и частые нарушения светских обычаев нередко также производили впечатление позы.

Один раз он на вечер приезжал без галстука, в другой — удивлялся, узнав от швейцара, что его не могут принять, так как в семье — прибавление семейства, хотя видел хозяйку еще накануне.

Однажды в доме, где хозяйева интересовались богословскими вопросами, пригласили г. М., имевшего репутацию знатока в этих вопросах; между М. и Соловьевым действительно разговор скоро перешел на эту почву, и завязался спор, но скоро кончился совершенно неожиданно для слушателей. М. сослался на авторитет Василия Александрийского.

— Такого нет, — отрезал Соловьев.

Конечно, разговор на эту тему уже не мог продолжаться, и пришлось перейти к менее интересным вопросам.

Между тем от природы Соловьев не только не был резок, но вообще трудно было найти человека более благодушного и менее требовательного к своим собеседникам: он громко смеялся самым незамысловатым шуткам.

Те кажущиеся резкости, которые иногда вырывались у Соловьева, зависели исключительно от неспособности его становиться на точку зрения своего собеседника, который мог обидеться тем, что Соловьеву казалось совершенно простым и естественным.

Не буду останавливаться далее на московском периоде деятельности Соловьева и перейду к моему совместному житию с ним в Каире.

* * *

Осенью 1875 года, после смерти графа А. К. Толстого, у которого я провел лето, я решил отправиться на юг через Одессу и Константинополь. Не помню, где и когда я получил письмо Соловьева от 8–20 февраля 1875 года, где он писал:

«Послал тебе телеграмму, но, на всякий случай, и письмо. Очень был обрадован известием о тебе, а то решительно не знал, что с тобою, посылал несколько писем в Липяги, но не получил ответа.

Ты должен непременно приехать в Каир. Я остаюсь здесь до марта. Эта поездка тебя развлечет. Страна весьма оригинальная. Климат превосходный; не говорю уже об удовольствии, которое ты мне доставишь. Если же тебе никак нельзя будет, то я постараюсь в феврале приехать в Афины или Италию, если ты будешь там. Но я надеюсь, что ты приедешь сюда, и тогда в начале весны мы вместе отправимся в Италию и Париж. Остаться же одному теперь тебе совершенно невозможно. Напиши мне немедленно, если можешь приехать. У меня есть кое-что рассказать тебе, но откладываю до свидания, чтобы не задерживать письма.

Остановись в гостинице «Аббат», когда приедешь сюда»⁶.

Это письмо, которое было переслано мне из России, дало более определенное направление моим планам: я решил побывать в Каире и затем уже ехать в Италию. Новый, 1876, год я встретил в Акрополе с одним знакомым, бывшим случайно в этом году тоже в Афинах.

Как раз в это время приехала в Афины компания русских туристов, отправлявшихся тоже в Египет, и я, присоединившись к ней, направился прямо в Александрию. В Каире в гостинице «Аббат» я Соловьева уже не застал: он переехал на квартиру в семью фотографа Дезире, но в том же доме, этажом ниже, оказалась свободная комната, которую я сейчас же занял. Несколько недель, которые я провел там, составляют одно из лучших воспоминаний моей молодости.

Дверь из моей комнаты выходила прямо на крышу, где мы с Соловьевым сидели по вечерам.

Лет через двадцать у Соловьева, очевидно, опять явилось желание пережить те чувства, когда «нам были новы все впечатленья бытия»⁷.

В стихотворении «Помнишь ли, бывало...»⁸ он вспоминает о тех старых и вечно новых мотивах, которые каждый день встают перед ним с той же силой и несомненно и наглядно доказывают вечность мгновения, что все то, что действительно «есть», всегда было и будет.

В 1876 году в Египте еще царствовал Лессепс, иначе трудно назвать то значение, которое имел в стране строитель Суэцкого канала. Теперь, когда дело Лессепса⁹ и Наполеона III в стране стало таким же достоянием истории, как и Наполеона I и фараонов, может быть, во Франции многие жалеют, что так дешево отдали порядок и материальное благополучие за мнимую политическую свободу.

В 1876 году, несмотря на разгром Франции и на уплату громадной контрибуции, она продолжала еще оставаться фактической хозяйкой исполненного Лессепсом громадного замысла.

Я упомянул о Лессепсе потому, что благодаря его любезности вся наша компания имела возможность ознакомиться с Суэцким каналом; к сожалению, Соловьев не счел возможным присоединиться к нам, хотя нередко принимал участие в прогулках и в спиритических сеансах.

В одном из своих стихотворений Соловьев подробно вспоминает о своем первом пребывании в Каире¹⁰ и о том, как он в сюртуке и цилиндре отправился в пустыню и сначала был принят арабами за черта, но потом взят ими в плен и опять выпущен; такие приключения для слушателей, конечно, забавны, — а, с другой стороны, по справедливому замечанию ген[ерала] Ф.¹¹, имеют для рассказчика то неудобство, что он может быть принят за человека ненормального, пока не докажет обратного.

В семидесятых годах в Каире я почти не помню извозчиков, и главным способом передвижения служили ослы, погонщики которых шли или бежали рядом. На узких, запруженных толпою улицах это, конечно, самый удобный способ передвижения.

Как только мы выходили на улицу, нас обыкновенно окружали ослятники, наперерыв восхваляя и предлагая своих ослов.

Соловьев обыкновенно выбирал большого белого осла, к погонщику которого питал большую симпатию. Действительно, не только осел у него был сильный, но сам он был очень неглупый человек.

Однажды между ними произошел приблизительно следующий разговор:

- Скажи мне, Тольби, сколько, ты думаешь, звезд на небе?
- Кто может это знать, господин мой?
- А сколько, ты думаешь, ослов в Египте?

— Тридцать миллионов ослов! — решительно отвечает Тольби.
 — А почему ты так думаешь? — спрашивает Соловьев.
 — А потому, — столь же решительно продолжает Тольби, — что прошлой осенью в Верхний Египет ушло их десять миллионов.

Соловьеву не удалось выехать из Каира вместе со мною, как он предполагал, и я один отправился в Неаполь и во Флоренцию.

Во Флоренции я скоро получил два письма от него, которые и привожу здесь, так как они очень характеристичны для Соловьева.

«Могу написать тебе несколько слов. Возвращаясь с Везувия, я искалечился и, может быть, останусь калекой на всю жизнь. Нахожусь в состоянии плачевном и намерений никаких не имею. В мае, вероятно, буду в Париже»¹².

Через неделю он пишет, однако:

«Благодарю тебя за участие и готовность приехать ко мне, но, к счастью, в этом нет никакой надобности. Рана моя (я упал с лошади, скача, и ударился коленом об острый камень, вследствие чего образовалась довольно глубокая рана) совершенно заживает, и рукой также могу действовать; после своего падения я пролежал неделю в Неаполе, где меня лечил очень хороший немецкий доктор, а потом, в Сорренто, два русских; очень желал бы тебя увидеть, но крайняя скудость средств не позволяет заехать во Флоренцию, да и не знаю, застал ли бы тебя там»¹³.

Несмотря на это письмо, в конце апреля или в начале мая Соловьев был уже во Флоренции.

Приведенные выдержки очень интересны, — особенно если принять в соображение, почему Соловьев упал с лошади, когда он спускался с Везувия: к нему пристала куча мальчишек, требуя милостыни. Соловьев раздал им всю мелочь, а так как они продолжали приставать, то в доказательство, что у него больше ничего нет, бросил им свой кошелек; когда и это не помогло — вздумал спастись от них бегством...

Во Флоренции Соловьев пробыл несколько дней, и я предложил ему познакомиться с А. М. Жемчужниковым как одним из главных участников в коллективном творчестве К. Пруткива, и он охотно принял мое предложение, но, поздоровавшись с ним и увидав какой-то заинтересовавший его номер газеты, он занялся чтением почти все время, пока мы разговаривали с Алексеем Михайловичем.

С 1877 по 1890 год Соловьев несколько раз бывал в Липягах¹⁴ и произвел сильное впечатление на всех, с кем ему приходилось иметь дело, начиная с местного священника и кончая старооб-

рядцами и сектантами. Хотя только позднее Соловьев специализировался окончательно на богословских вопросах, но, как я уже говорил, во всякой философии, за исключением псевдофилософского материализма, идея духа, не только ограниченного и относительного, но и бесконченного и безусловного, неразрывно связана с самим понятием философии. Ввиду этого Соловьев не мог не интересоваться особенно живо различными сектами, так как в них живее, хотя большею частью в извращенном виде, сказывалось религиозное чувство народа. Я упоминал уже о том, что в юности у Соловьева был период, когда он был убежденным материалистом, и только позднее вполне сознательно он перешел к прямо противоположной точке зрения. Однако то исповедание веры, которое необходимо перед приступлением к таинствам, тем более трудно для человека, чем более сознательно и более добросовестно он относится к исповеданию своей веры.

Из всех законов о свободах это, несомненно, тот, который был самым необходимым, так как отрицание его сводит дело веры к пустой формальности или к гадкому лицемерию.

Не чем иным, как важностью, какую придавал Вл. Соловьев христианским таинствам, объясняется, что много лет он не общался и только в 1877 году решился сделать это в Липяговской церкви.

Мечтой Соловьева было воссоединение Церквей греко-православной и римско-католической: разница между этими исповеданиями действительно настолько незначительна, что если бы не догмат о папской непогрешимости, была бы возможность положительного решения вопроса. К сожалению, слова апостола: «Да будет едино стадо и един Пастырь» едва ли когда-нибудь осуществятся на земле. Пока дух сектантства грозит уступить место только полному неверию.

Вместо того чтобы по возможности сохранить все богословские догматы, большинство христианских исповеданий упирается именно на эти догматы и отказывается вникать в дух христианского учения, которое, несомненно, учит, что Бог один не только у христиан, но и у евреев, магометан и язычников.

Когда Соловьев в первый раз приехал в Липяги, у нас гостила родственница моей матери, которая, зная, что он в университете преподает философию, без церемонии спросила его: верит ли он в Бога?

— И в Бога, и в черта, — совершенно серьезно ответил Соловьев.

Хотя в некоторых случаях, особенно в стихотворениях, упоминание о черте имеет наполовину шуточный характер, из этого

было бы ошибочно заключать, что Соловьев совсем не допускал в природе злого начала. Правда, было время, когда он склонен был видеть во всем неразумном только меньшую степень реальности, но уже после написания книги об «оправдании добра» он говорил мне, что допускает в природе борьбу двух начал, нечто вроде вражды Ормузда и Аримана¹⁵, и, таким образом, его точка зрения была очень недалеко от той, которую я ему неоднократно высказывал.

В одном из самых ранних своих произведений Пушкин скорее угадал, чем понял эту точку зрения.

В стихах:

За счастьем вслед идут печали,
Печаль же — радости залог.
Природу вместе созидали
Бел-бог и мрачный чернобог.

Пессимизм, строго говоря, несовместим ни с деизмом, ни с рационализмом, — но кто из нас может сказать, что он сознает себя всецело причиною всех своих действий: не лежит ли множество этих действий вне сферы нашего сознания? А если так, то имеем ли мы право утверждать, что утверждение почти всех преступников из простого народа — «лукавый попутал» — есть простая отговорка?

Помню публичную лекцию, на которой Соловьев так увлекся, что назвал учение о вечных мучениях гнусным догматом. Действительно это, слава Богу, не догмат, так же как не догмат и то, что вне нашей Церкви нет спасения.

Действительно, если, как говорит Шиллер, сама история есть Страшный суд, — кто знает, через сколько превращений должен пройти еще человеческий дух, прежде чем сделаться способным к другой, нематериальной, форме бытия? Ясно, что дарвинизм, уничтожая границы пространства и времени, может допустить какие угодно организмы и какие угодно превращения без малейшего опасения быть опровергнутым, пока никто не может продемонстрировать атома.

...Но возвращаюсь к пребыванию Соловьева в Липягах.

Так как с 1877 по 1890 год он был у меня несколько раз в разное время года, то я могу сообщить только более или менее случайно оставшиеся у меня впечатления.

Один раз (не помню — в каком именно году) мы отправились верст за шестьдесят на утиную охоту, оставившую во мне года за три перед тем самое приятное впечатление: я тогда уже очень не любил ходить пешком, а прогулка по озеру, поросшему ка-

мышами, по водяным аллеям, ведущим к нему, независимо от количества дичи, представляла большую прелесть. К нам присоединились два или три настоящих охотника, в том числе и один студент Московского университета — медик.

Хорошо помню разговор между ними на постоялом дворе.

— А правда говорят, Владимир Сергеевич, что вы индивидууй?

— Такой же, как и вы, — ответил Соловьев, с трудом удерживая свой серьез.

Будущий врач не отличал медиумов от индивидуумов; он же полагал, что у него «все философии» собраны, потому что он вырезывал их из газет.

Справедливость относительно Московского университета требует сказать, что, кажется, далее первого курса он не пошел; но тогда уже существовали экзамены зрелости: каковы же должны были быть гимназии, выдававшие эти аттестаты?!

Путем постепенного освобождения от всякой дисциплины в гимназиях, само собою понятно, что в университетах оно должно было превратиться в политиканство при готовности заниматься всем чем угодно, только не предметами избранного факультета. Что касается Соловьева, то когда он был доцентом, он принял за правило ставить всем пятерки. Основанием для этого правила он считал невозможность преподавания философии.

Действительно, как ни смотреть на задачи отдельных отраслей философии, несомненно, что в конце концов она должна привести к теории познания и упереться в вещь о себе, отличие которой от явления может даваться только верою.

В 1879 году мы собрались ехать в Липяги вместе с Соловьевым, но прежде чем направиться на Моршанско-Сызранскую жел[езную] дорогу, решили заехать в Тамбов, где в это время должно было быть земское собрание.

Я помню неожиданный эффект, произведенный моим заявлением, что едва ли своевременно поздравлять государя императора с двадцатипятилетием благополучного царствования, в то время когда одно покушение следует за другим и когда сам государь, по-видимому, ищет опоры у общества, — а земские собрания, вместо того чтобы дать эту опору, насколько это тогда от них зависело, стараются, пользуясь трудным положением, выпрашивать у него новые льготы. Соловьев тогда написал статью в «Московские ведомости» по поводу моего доклада тамбовскому губернскому собранию. Не помню, почему она не была напечатана.

По окончании земского собрания мы отправились в Липяги, но, подъезжая к Пачелме, от которой до дома было еще более

шестидесяти верст, я начал серьезно беспокоиться, так как был декабрь месяц, мороз стоял жестокий, а у Соловьева не было с собой ничего теплого; но он утешался мыслью, что «Бог не выдаст — мороз не съест», — и ожидание его совершенно неожиданно оправдалось. Не успели мы выйти в Пачелме, как ямщик, привезший в возке одну соседку, предложил нам доставить нас обратно.

Вообще, несмотря на то что Соловьев не был крепкого здоровья, он никогда не берегся. Раз я предложил ему — это было летом — пройти пешком до большого пруда, на котором стояла лодка или, точнее, душегубка; не успели мы в нее усесться, как Соловьеву пришла мысль взять ножную ванну; он снял сапоги и перекинул ноги за борт; пруд был глубокий, лодка валкая, и, во всяком случае, он рисковал простудиться, если бы я не уговорил его вернуться домой ускоренным аллюром.

Соловьев если и не придавал серьезного значения снам, то и не относился к ним безразлично, часто запоминал их и любил иногда рассказывать.

У меня в памяти остался рассказ сна, который привиделся ему, когда в 1890 году мы вместе с ним гостили в Красном Роге у графини С. А. Толстой.

Он видел себя в море, на корабле, беседующим с капитаном... Соловьева поразило, как быстро они двигаются вперед, на что капитан ответил ему: «Разве вы не знаете, что течение времени, сливаясь с течением волн морских, производит его ускорение?»

В другой раз он, видя приближающегося к нему покойного проф[ессора] Юркевича, вежливо осведомляется у него, не на Ваганьковом ли кладбище он похоронен.

Рассказывая это, Соловьев заливался заразительным смехом со всхлипыванием, так хорошо известным всем знавшим его.

Он чрезвычайно был рассеян, и рассеянность его увеличивалась особенно, когда он занят был какой-нибудь новой мыслью или сочинением. Глядя на мою жену, которая в это время смотрела в черепаховый лорнет, и обдумывая что-то, Соловьев неожиданно воскликнул:

— Ах, как жаль!

Жена, опустившая в это время лорнет и видя, что он на нее смотрит, спросила его: что случилось?

— Я думал, что это у вас такие прекрасные черные глаза, — ответил он и затем попросил жену еще раз взглянуть на него в лорнет.

Однажды в гостинице «Франция», когда Соловьев утром пил кофе, к нему в номер пришел знакомый, посидел немного и стал прощаться. Соловьев вышел его провожать в коридор, бессозна-

тельно запер свою дверь на ключ и положил его в карман. Поговорив со знакомым еще в коридоре и окончательно распростившись с ним, он направился к своей комнате, но она оказалась запертой. Соловьев постоял под дверью, с досадой вспоминая о запертой в комнате чашке кофе, и решил ждать, пока дверь отпрут. В ожидании он принялся ходить взад и вперед по коридору. Я его застал за этим занятием.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я его.

Он объяснил, в чем дело.

— Так почему же ты не попросишь отворить дверь и не спросишь себе другой чашки кофе?

Соловьев, как ребенок, обрадовался простому разрешению этого вопроса и закатился своим смехом.

Курьезный случай был с ним однажды на Финляндском вокзале. Была сильная гроза. Соловьев подошел к кассе взять билет и протянул кассиру рублевую бумажку. В эту минуту молния ослепила ему глаза, и одновременно раздался оглушительный удар грома.

Не видя перед собою кассира, который от неожиданности присел, Соловьев окликнул его:

— Вы живы?

— Жив, только рубль потерял, — изнутри отвечал кассир.

Странно то, что, вынув потом часы, чтобы справиться с временем, Соловьев поражен был, увидав, что серебряный ключик от золотых часов, висевший у него на серебряной цепочке, оказался заново вызолоченным. Этого факта Соловьев никак не мог себе объяснить.

Всем, кто помнит Владимира Сергеевича, памятна его наружность. У него было одно из тех лиц, мимо которых нельзя было пройти, не обратив на него внимания; останавливали на себе глубокие глаза и длинные волнистые волосы, обрамлявшие высокий лоб, — но особенно поражал его взгляд.

Необыкновенная наружность его производила впечатление не только на взрослых, но и на детей.

Дочке моей, когда ей было два года, достаточно было увидеть портрет Соловьева, чтобы потянуться к нему, как к образу, желая приложиться; при этом она с благоговением произносила: «Бог».

Как ни разуверяли ее жена и няня, что это — не Бог, а папин друг, каждый раз при виде портрета Соловьева неизменно повторялась та же история.

